

Карл Кантор. Поэзия Александра Зиновьева

Я хотел было начать свои заметки словами «поэзия прозаика». Но это было бы неточно. Зиновьев создатель трагико-сатирической мениппеки, социологических романов, юмористических пьес, утопических антиутопий, социально-политической публицистики. Он — автор философско-логических исследований, социологических трактатов. И лишь потому, что гора, им возведенная, написана не рифмующимися короткими строками, ее можно было бы назвать прозой, а автора «Зияющих высот» следовало бы именовать «прозаиком». Но понятие «проза» прочно ассоциируется в нашем сознании с беллетристикой. А как быть, если Зиновьев одновременно и беллетрист, и ученый? Можно ли тогда его творения называть прозой? Надобен какой-то новый термин. Лукреций Кар написал свой обширный научный трактат «О природе

вещей» стихами. Познаний бездна — поэзии кот наплакал. О таких говорят: здесь простыни не смяты, поэзия здесь и не ночевала.

За неимением другого термина для обозначения написанного en mass А. Зиновьевым, воспользуюсь многосмыленным словом «проза» (прося не забывать обо всех моих оговорках), чтобы предложить более точный заголовок для своих заметок: «Поэзия квазипрозаика Александра Зиновьева». Или еще точнее «Квазипоэзия квазипрозаика». Даже словосочетание «поэзия прозаика» непривычно нашему уху. «Проза поэта» — пожалуйста! Звучит заманчиво. Уж если большого поэта потянуло на прозу, значит, талант его возмужал, раздался вширь, ему стало тесно в клетке размеров и ритмов, скрепленных болтами рифм. Стихи, рассмотренные генетически, не более чем забава юности. Кто в молодости не играл в буриме, не сочинял эпиграмм, не писал «на спор» триолеты или акrostихи? Стихотворная стихия таится в первичной, еще дописьменной речи. Поэтому только что пробудившееся сознание мыслит и чувствует стихами. Проза обыденщины, цифирь, трафареты и законы «наук» засоряют слабые роднички поэзии. И возмужавшие рифмоплеты забывают свои юношеские версификации.

И только те, в сознании которых бьют не слабые роднички, а неиссякаемые родники поэзии, те, кто и в зрелые свои годы воспроизводит в себе молодость, те, из душ которых выпорхнул махаон музы и порхает перед его глазами, становятся поэтами, чтобы с годами, Бог даст, снова перейти на прозу и квазипрозу, сохраняя свое поэтическое зрение и слух. И все же я берусь утверждать, что даже самые поэтические картины «Капитанской дочки», «Дубровского», «Повестей Белкина» уступают «Полтаве», «Медному всаднику» даже и по тому качеству, которое Пушкин требовал только от прозы: мыслей, мыслей и мыслей.

Об Александре Зиновьеве мало кто знает, что он, как и великие Пушкин и Лермонтов, начинал со стихов, но и, став ученым и беллетристом, он не в силах был с ними расстаться. В стихах его долгое время преобладала шутка, эпиграмма, розыгрыш, шарада, балагурство. Он никому не подражал, хотя в его допрозаических стихах можно обнаружить реминисценции обереутов, которых, (уже запрещенных) он, скорее всего, не знал или знал плохо. Он сам себе был обереутом. Знал Козьму Пруткову, и сам себе был Козьмой Прутковым, знал сатирическую поэму о России одного из соавторов Козьмы Пруткова — графа Алексея Константиновича Толстого. Скачет по строкам одной из его поэм «Конек-горбунок» Ершова. Он испытал влияние меланхолии Сергея Есенина, а в нецензурных стихах — матерщинника Баркова; в переводах читал Франсуа Вийона и Роберта Бернса. Как все нормальные русские, любил Пушкина и, как все «ненормальные» обожал Маяковского. В наиболее исповедальных стихах я чувствую отголоски трагико-сатирической поэзии Лермонтова, особенно его «Думы» — в них то же разочарование в современниках, в них те же горькие предвосхищения будущего. Читатель, может быть, спросит, есть ли логика в поэтических предпочтениях Александра Зиновьева? Еще какая! Нет ни одного пустомели, ни одной бездарности, ни одного аллилуйщика — все бесстрашные правдолюбы. И пусть не удивится читатель, что из всех великих и любимых самым для него великим был Владимир Маяковский — поэт Октября, поэт коммунизма, который современным предателям, пигмеям, отрекшимся от Октября, от Коммунизма, от Советской эпохи, ненавистен, как и Зиновьев. Перевертыши не могли не исказить, не оболгать, не отлучить Вл. Вл. ото всего того, выпестованного и воспетого им, что так дорого было поэту-гиганту, что так дорого и Зиновьеву, и мне, и многим другим. С Александром Александровичем и его женой Ольгой мы часами напролет читали Маяковского, читали в Москве и в Мюнхене, где в насильственной эмиграции Зиновьевы прожили многие годы. Должен признаться (решаюсь впервые): меня поразило, как много Маяковского наизусть знала Ольга и с каким понимающим чувством читала его. Когда я навещал изгнанников в Мюнхене, мы ходили по аккуратным, почти безлюдным улицам пригорода Мюнхена и наперебой читали стихотворения и поэмы Вл. Вл. не ради только поэзии • — через его стихи мы возвращались в Советский

Союз, в Москву. Поэт Наум Коржавин, думая, может быть, о ком-то другом, возможно, и о себе самом (имел право, выстрадал), сказал нам сегодня самые нужные слова, которые я отношу к Маяковскому, которого сам Коржавин не очень любил:

Нам все изменило — и средства и цели,
Но ПРАВДА все то, что мы сердцем хотели.
Пусть редко на деле она удается,
Но В ПЕСНЕ ЖИВЕТ ОНА И ОСТАЕТСЯ.

Так, в песне Маяковского Октябрь, Коммунизм, Советская власть, учение Маркса, Ленин останутся навечно. Что же удивительного, что на Зиновьева сильнейшее влияние оказал великий поэт эпохи, о которой Зиновьев сказал: «Я остаюсь навеки твой, родившая меня эпоха». Отношение Зиновьева к Маяковскому не позволяет ограничиться одной-двумя фразами. Их рассмотрение открывает непредвиденное в жизни и творчестве Ал. Ал. и обогащает таким пониманием Маяковского, какого не вычитаешь ни у одного критика, ни у одного поэта, ни у одного близко знавшего Вл. Вл. Гостя у Зиновьевых в Мюнхене, я записал три кассеты беседы с Зиновьевым о Маяковском. Сам я скрывался за вопросами. Мне важно было мнение Ал. Ал. Тринадцать лет автора «Зияющих высот» не было на родине. Без него прошла перестройка, без него менялось общественное мнение. Я рассказал Александру Александровичу, что влиятельные российские круги (писательские и околополитические) считают, что Маяковский, как апологет Советской власти, Октября и Ленина, несет ответственность за советскую катастрофу. Ответ Зиновьева следовало бы записать на скрижалях.

Он начал с себя: «Я не был ни апологетом, ни врагом режима. И в этом я сходен с Маяковским. В чем наше самое глубокое и самое принципиальное сходство? Он старше меня, но суть дела осталась. И он, и я были рождены светлыми идеалами Революции. И он, и я пережили драму разочарования в реализации этих идеалов. Я не считаю Маяковского апологетом коммунизма. А то, что воспринимается как апологетика, на самом деле есть критика нашего режима в неизмеримо большей степени, чем фрондерство других, таких как Пастернак, Ахматова, Мандельштам. Для них отношение к режиму якобы критическое было позой. Маяковский пережил трагедию революции в своем сердце. Маяковский критиковал режим не как враг, не как посторонний наблюдатель. Это был его дом, и никакого другого у него не было.

Я утверждаю и стою на этом категорически: Маяковский был и есть величайший поэт XX столетия и один из величайших поэтов за всю историю литературы. Это — гигант, это настоящий гигант. И теперешняя его травля — это буйство посредственностей против гения. Страна, которая позволяет оплевывать своих гениев, заслуживает самого глубокого презрения. Ты заметь: выбирают наиболее крупные фигуры в литературе и подвергают их такому оплевыванию, какому не подвергался ни один писатель ни в одной литературе мира. Какая страна, кроме России, могла бы позволить себе так относиться к своим гениям?! Маяковского дискредитируют не за его поэтические достижения, а за то, что он писал о Ленине, о партии, раз или два упомянул имя Сталина. Какое это отношение имеет к искусству?! Та травля Маяковского, которая ведется в России, меня оскорбляет просто как русского человека».

Я: «Что тебя привлекло в Маяковском? Почему ты его полюбил?»

З.: «Прежде всего его поэтический дар. Я не знаю в мировой поэзии никого, кого бы я мог бы поставить рядом с ним по силе поэтического дара. Все современные поэты после него не внесли в поэзию ничего принципиально нового. Второе, что меня привлекло в Маяковском — его духовная огромность, его вселенский масштаб, каким он измерял человеческую жизнь, Революцию, Советское общество, да и все другие общества планеты с иным социальным строем (Европу, США, Китай, Японию). Третье, что меня привлекло в этом гиганте — обалденная

искренность чувства. Он мог, если надо, вывернуться наизнанку, только чтобы не соврать. По искренности чувства, не считающегося ни с какими условностями, маяковскими достоинствами обладает Владимир Высоцкий»

Я: «Одно время «новомировская» элита объявила Блока Пушкиным XX века. Пастернак, хотя и не Пушкин XX века, но, по «их» номенклатуре, некто вроде Лермонтова, Блока, Пастернака, даже Мандельштама продолжают настойчиво противопоставлять Маяковскому, все достоинство, которого исчерпывается-де его агитационным басом».

З.: «Что тут сказать? Пастернак — хороший поэт. А Сергей Есенин, может быть, еще лучше. Но они не гении, нет. Раздувают значение хорошего, но не из ряда вон выходящего. Таковы повадки черни. Совсем плохого поэта возвести на трон короля поэтов стыдятся и боятся. Гения отвергают, потому что за его гигантской фигурой не будет видно, этой критической шушеры. А с хорошим (по сравнению с гением — средним) удобно: и памятник видно и тех литераторов, что с него пышь сдувают, заметно. Пастернак, Мандельштам, Ахматова, а теперь вскормленный ею Бродский — вожди армии посредственностей в своей социальной среде, как Солженицын — общероссийской».

Беседа моя с Зиновьевым была продолжительной. Она еще не вся расшифрована и, уверен, читателю будет интересно узнать со временем ее полный текст. Самое ценное, что сказал Зиновьев о Маяковском, сводится к тому, что в отличие от всех других поэтов он не писал о Революции, ОН САМ БЫЛ ее частью, ее проявлением и, без гиперболы, самой сутью РЕВОЛЮЦИИ.

Зиновьев начинал, как я уже сказал, с подражаний Маяковскому, но отложил пустое попечение. Как ОН, Ал. Ал. не мог, а эпигоном быть не хотел. Повлияли на Зиновьева лишь отчасти формальные стихоношества Маяковского — повлияло направление поисков новых жанров. И он изобретал новые или переиначивал на свой сатирический лад патетические жанры Вл. Вл.: гимны, марши, послания, молитвы. В подборке стихотворений, которую сделал сам автор, вы прочтете, удивляясь точности деталей и пойманым, как в сачок бабочкам, атмосфере наших собраний и очердеи («Гимн собранию» и «Гимн очереди»). Последний ритмически построен так, что ощущаешь колыхание живой змеи, ее недоумение, беспокойство. А как мастерски переделан «Левый марш» Маяковского в «Марш заградотряда». «Левый» означало революционный, инициативный, индивидуальный, свободный «Марш заградотряда» переворачивает все наизнанку с пугающим рефреном:

Как учил нас сам Хозяин, наш отец
Нам дозволено лупить судом и без,
Потому как мы несем с собой прогресс
Левой!

Левой!

Левой!

Правой!!!

Ты один. А мы — оравой

Среди «Посланий» удивленный читатель прочтет Послания — исповеди Дзержинского, Ленина, Сталина — Ленину, в котором Усатый унасекомливает Лысого, Послание-плач Маркса последователям, исказившим его учение. Если Маркс в XIX веке о своих добросовестных учениках произнес: «Что касается меня, то я не марксист», то в зиновьевском послании Маркса последователям Маркс, по сути дела, заявляет: «Я враг марксистов».

Для верующих дорогой подарок — книга Зиновьева «Евангелие для Ивана», написанная в форме собрания молитв. В Евангелии Иисуса Христа — канонических и апокрифических — этих молитв нет. Зиновьев — атеист. А между тем они обращены к Богу. При этом он просит у

Господа прощения за то, что веры нет в душе, за то, что не приучен молиться, а все-таки, пусть и не по церковному канону, Зиновьев молит Бога о помощи одновременно и в Богоугодных делах — прося у НЕГО сил трудиться, и в непотребных — напиться со спокойной совестью. В этой «утренней молитве», как и во всех других, ни тени богохульства. Одно то, что заготовлены молитвы на каждый поворот дневной судьбы и просит неверующий об индивидуальном устройении его во всех гнусных проявлениях гуртового советского быта, делает молитвы не механическими, не шаблонными, каковы церковные, в которых индивид нивелируется, а живыми, искренними, личными, угодными Богу. И сколько бы Зиновьев ни божился о своем неверии в Бога, одна его «Ночная молитва» стоит миллиона молитв церковных прихожан, творящих молитву как староотеческий обряд.

НОЧНАЯ МОЛИТВА

Настала ночь. И ты один.
Всем до тебя — какое дело?
И твое собственное тело
Твоей душе — не господин
Она — в бездонной высоте
В тиши, как сто громов гремящей
Во тьме, как сотня солнц слепящей,
В тягучей мчится пустоте.
И переполнит тебя страх.
Ты испытываешь вождельенье
Исполнить смутное веленье:
Исчезнуть в изначальный прах.

Как неутомимо, бесперебойно работает мозг поэта. Для человечества Страшный Суд еще впереди, а Александр Зиновьев его уже пережил многократно, ежевечерне, отходя ко сну. Пушкин не испытал такого страха, но если бы под стихами стояла подпись Александра Сергеевича, я бы поверил. Ни Тютчеву, ни Белому, ни Блоку, ни Цветаевой такое устойчивое состояние сознания не было знакомо. Понимает ли сам Александр Зиновьев, что его «Ночная молитва» могла бы быть включена в Евангелие? Более высокой похвалы не знаю.

А вот по-Маяковски написанное стихотворение «Тост» по поводу речи Сталина в честь русского народа в 1945 году, сразу после победы Советского народа над гитлеровскими захватчиками в Великой Отечественной войне. Вождю следовало его произнести. Все народы Советского Союза внесли свой вклад в победу. По числу Героев Советского Союза второе место занимали татары, третье место — евреи, ну а первое, само собой разумеется, русские. Одними убитыми русские потеряли десятки миллионов, в том числе и по вине Сталина, и миллионы попали в плен, что по приказу Сталина расценивалось как предательство и каралось десятью годами ГУЛАГа, либо расстрелом. Другой народ давно бы скинул такое правительство, а русские не только не возмущались предательской жестокостью своего Верховного Главнокомандующего, с 1939 по 1941 год сражавшегося на стороне Гитлера против западных демократий, но и пели ему осанну.

ТОСТ

Вот поднялся Вождь
в свой ничтожный рост.
И в усмешке
скривил рот

Палачей б
 своих защитил?
 Вождь поднял бокал.
 Отхлебнул вина.
 Просветлели
 глаза
 Отца.
 Он усы утер.
 Никакая вина
 Не мрачила
 его
 лица.
 Ликованием вмиг
 переполнился зал....
 А истерзанный
 русский
 народ
 Умиления слезы
 с восторгом глотал,
 Все грехи Ему
 отпустив
 вперед.

Зиновьев не упомянул буквально (а по существу сказал), за какие качества Вождь ценил русский народ, а Сталин почти дословно повторил характеристику, данную ему Лениным в статье «О национальной гордости великороссов» (заметьте: *великороссов*, а не русских, ибо к русским относятся и украинцы, и белорусы). Что же сказал Ленин?

«Мы помним, как полвека тому назад великорусский демократ Чернышевский, отдавая свою жизнь делу революции, сказал: «жалкая нация, нация рабов, сверху донизу — все рабы». И уже от себя Ленин добавил: «Никто не повинен в том, если он родился рабом; но раб, который не только чуждается стремления к своей свободе, но оправдывает и прикрашивает свое рабство (например, называет удушение Польши, Украины и т. д.) «защитой отечества» великороссов), такой раб есть вызывающий законное чувство негодования, презрения и омерзения холуй и хам» (Ленин В. И. ПСС. Изд. 5, т. 26, ее. 107,108).

Говорят, Сталин был верный ленинец. Но те черты русского народа, которые Ленин порицал — откровенное и прикровенное рабство по отношению к Вождю-палачу, долготерпение, смирение, холуйство и хамство — Сталин прославлял и возвеличивал, противопоставляя именно эти черты свободолюбию других народов. Друг моих студенческих лет — Лен Карпинский — познакомил меня со своим стариком отцом, который переписывался с Лениным. Вячеслав Карпинский написал Ильичу, что своей статьей он принижает великорусский народ. Ленин ответил односложно: «Так надо...» У Сталина все было наоборот: он возвеличил великорусский народ не потому и не за то, что он действительно заслуживал, а потому и затем, чтобы противопоставить великороссов другим советским народам и прежде всего — евреям, в верности которых он не был уверен, хотя именно среди евреев он подобрал себе холуев и хамов для пыточных ГУЛАГа и своего личного секретариата (Ягода, Мехлис и многие другие) Долго и тщательно готовилась государственная и всенародная компания антисемитизма, которую иначе называли борьбой с безродными космополитами и сионистами. Интернационализм КПСС похоронил по первому разряду. И нынешний антисемитизм КПРФ Зюганова и Макашева —

это отрывка сталинского антисемитизма, свежие побеги которого вылезли наружу еще в 1905 году. Коммунизм без интернационализма так же невозможен, как и христианство без интернационализма. Поэтому все Зюганов ссылается на коммуниста Христа. Я бы не вспоминал об этой отвратительной кампании, если бы я сам, студент второго курса философского факультета МГУ, не оказался гонимым факультетскими холуями как безродный космополит и если бы не Зиновьев. В 1949 году, когда антисемитско-антисионистская кампания приняла всесоюзный размах и от словесных осуждений и карикатур перешли к практике — «у большевиков слово не расходится с делом», — продолжая шельмовать евреев и во всесоюзной, и в местной печати, учиняя показательные партийные собрания-судилища, на которых всякого студента или аспиранта, или преподавателя-еврея «разоблачали» как «скрытого» или «явного» космополита-антипатриота, ссылаясь при этом на ТОСТ Сталина. Евреев таскали на допросы в Дом Держинского, арестовывали кого-то ссылали в ГУЛАГ, кого-то расстреливали, или убивали другим способом (как Михозлса). Атмосфера в столице была гнетущая, неправдоподобная. Антиеврейская тема была в центре интересов обществественности. Своему закадычному другу я сказал, что Ленин не произнес бы сталинского тоста, предвидя последствия сомнительных здравниц в честь одного великорусского народа. Закадычный друг тут же доложил секретарю партбюро А. Ковалеву в письменном виде. «Ты действительно так сказал?» — «Да, а что?» — «Так ведь ты противопоставил Ленина Сталину. А это самое тяжкое партийное преступление». — «Товарищ Ковалев (секретарь), перечитайте статью Ленина «О национальной гордости великороссов», и Вы убедитесь, что Сталин, наперекор Ленину, восславил великороссов не за их великие достоинства, а за омерзительные недостатки. Но этого мало. Он предоставил партийным чиновникам право превратить эти холуйские черты в критерий оценки других народов. Сталин оскорбил сразу, по крайней мере, два народа — великорусский своими похвалами, и еврейский — своими беспочвенными подозрениями и клеветой». Ковалев был не дурак, все понимал, но не был таким смелым, чтобы не дать ход доносу «закадычного» друга. — «Ладно, — сказал секретарь, — на партсобрании разберемся». Вчера еще любимец факультета, я стал уродом, высокий стал недомерком, прямодушный — двурушником. В мозгах моих дорогих студиозусов щелкнул невидимый рычажок, и коллектив, упивавшийся Кантом, мгновенно превратился в ядовитый клубок змей. Не все, конечно. Рядом со мной на лекциях, собраниях, семинарах садился бывший фронтовик-очкарик худющий Ваня Иванов. Партийная кодла, занимавшая позиции в другом углу аудитории, предупредила Ивана: «Сядешь еще раз рядом с Кантором, объявим пособником космополитов». А Ваня продолжал садиться, светлая ему память. Меня, как водится, на факультетском партсобрании исключили из партии и передали свое решение на утверждение в партийный комитет МГУ с добавлением «следовало бы исключить из университета». А еще до заседания партийного комитета встретил я в коридоре факультета Александра Зиновьева (мы уже год как дружили). До него дошла моя «персоналка». И первое, о чем он спросил с удивлением: «Карл, ты разве еврей?» Оказывается, ему ничего не говорила ни моя фамилия, ни имя-отчество, ни моя медалью еврейская внешность. «Ну, а если еврей, тогда травля оправдана?» — спросил я. — «Видишь ли, — ответил А. А. — прежде, чем затравить евреев, Сталину потребовалось великорусское зло назвать великорусским добром, разбудить в душах языческих идолов» — и протянул мне свое стихотворение «ТОСТ». Сомнения мои были развеяны. Нашелся человек, который о провокационной речи вождя сказал так умно, понимающе и беззлобно, как я не умел сказать, да еще стихами, не уступающими Маяковским, да еще с кривой усмешкой — в подражании Вождю — только не над народом, а над самим Верховным Главнокомандующим. Что было бы с самим Зиновьевым, если бы эти его стихи попали в руки Самого? С Б. Пастернаком Сталин бы не советовался, что ему делать с А. Зиновьевым, как Он советовался с «небожителем» о судьбе автора

стихов о Петербурге. Мандельштам написал злую карикатуру на Сталина и его тонкошеих вождей. Писал и дрожал. И написал их колченогими словами, как в количестве писали бластные ээки, забывши, что он автор рафинированных стихов TRISTIA. А Зиновьев обнажил в «Тосте», под личиной полупокаяния и полупанегирика, клевету Вождя на великорусский народ и его тайный замысел использовать свой спич в шовинистических целях. Выделка слов Зиновьевым напоминала грузинскую чеканку по меди. Он проник в тайную канцелярию мозга Вождя. За это полагался расстрел без суда. Но о них до 1985 года никто не узнал. А на партийном комитете МГУ, собравшемся на правож Кантора, его секретарь доцент химии Прокофьев неожиданно заявил: «Человек, который читает стихи Маяковского, как читает их Кантор, не может быть нашим врагом. Его нельзя исключать из партии и отчислять из университета». Слово секретаря парткома было тогда законом (по модели секретариата ЦК КПСС). Прокофьев рисковал. Чтобы как-то себя обезопасить, он предложил ограничиться строгим выговором без занесения в учетную карточку. Я был почти спасен, *почти*, потому что до самого окончания факультета, я должен был, руководя агитбригадами среди эзков — строителей нового здания МГУ на Ленинских горах, забросив философию, ежедневно доказывать, что я «не верблюд». «Тост» Зиновьева-поэта вернул мне душевное равновесие. Значит, не я один так думаю. А теперь вывод: Зиновьев в такой же мере поэт, как и «прозаик» Он написал три стихотворные повести: «Мой дом — моя чужбина», «Евангелие для Ивана», «На Руси веселье пити», в которых патетика подпирает сатиру, где если и смеются, то по-гоголевски, сквозь слезы. Как рачительный хозяин своего словесного богатства, Зиновьев построил свои одинокие, без начала и без конца, шутки-прибаутки в свои крупные «прозаические» книги, и они, как бы ни были серьезны, подобно соленым огурцам, стали сочиться хмельным соком юмора.

Я не представляю себе великую книгу Зиновьева без венчающего ее стихотворения «Итоги». Их произносит расцветившийся герой мениппеи: шизофреник, болтун, клеветник, двурушник. Более всего они напоминают «Думу» Лермонтова, самого любимого поэта Зиновьева и наиболее близкого ему по духу. «Итоги» я воспринимаю как воскрешение душевного строя поэта-гусара.

Печально я гляжу на наше позволение!
Его грядущее — иль пусто иль темно,
Меж тем, под бременем познания и сомненья,
 В бездействии состарится оно.
 Богаты мы, едва из колыбели,
Ошибками отцов и поздним их умом,
И жизнь уж нас томит, как ровный путь без цели,
 Как пир на празднике чужом.
 К добру и злу постыдно равнодушны,
В начале поприща мы вянем без борьбы;
Перед опасностью позорно малодушны,
И перед властью — презренные рабы...
И ненавидим мы, и любим мы случайно
Ничем не жертвуя ни злобе, ни любви
И царствует в душе какой-то холод тайный,
 Когда огонь кипит в крови.
И предков скучны нам роскошные забавы,
Их добросовестный, ребяческий разврат;

И к гробу мы спешим без счастья и без славы,
Глядя насмешливо назад.
Толпой угрюмою и скоро позабытой
Над миром мы пройдем без шума и следа,
Не бросивши векам ни мысли плодovitой,
Ни гением начатого труда.
И прах наш с строгостью судьи и гражданина,
Потомок оскорбит презрительным стихом,
Насмешкой горькою обманутого сына
Над промотавшимся отцом.

Какие горькие, правдивые, безысходные стихи! Какое гордое покаяние в собственной бесплодности, в довременной омертвелости чувств! У поколения пустое будущее и пустое прошлое, и жизнь сегодняшняя — не своя, а чужая, пир на празднике чужом. И ничего не остается, как спешить к гробу, потому что уже поздно оставить векам плодovitую мысль

Казалось бы, Лермонтов достиг предела пессимизма — на самом деле он только указал дорогу последних разочарований — они не были им исчерпаны.

И в последней трети XX века Лермонтову (Зиновьеву) пришлось написать по-другому. «Итоги» явились завершением «Думы».

ИТОГИ

Линии привычные чертя,
Рукам, ушам, глазам своим не веря,
Я чувствую — вопят: катись ко всем чертям!
Видали мы таких! Невелика потеря!
Невелика, когда лишь горечь за душой.
Никем не сокрушен, но никому не нужен.
Когда всему и всем всегда чужой.
Когда твой путь игольной дырки уже.
В извечной слякоти не сыщешь ясных фраз.
В трясине сырости не ощутишь опоры.
В который Посчитай!.. И не в последний раз
Пусты согласия, бесперспективны споры.
Порывы творчества — приманка для юнца.
Работа — боль от пяток до затылка.
Суть вдохновенья — ожидание конца.
Единственно бесспорная посылка.
Чего хочу? Какую нить я рву?
Куда иду? Какую радость рущу?
Свобода — шаг от камеры ко рву.
Бессмертье — червь в мою ползущий душу.

Александр Зиновьев не просто поэт, он большой поэт, без его поэзии не может быть адекватно понято все его творчество, в том числе чисто научное.

У читателя может возникнуть вопрос, почему поэзия Зиновьева столь многообразна не только тематически, но и стилистически. И почему все-таки ему потребовалось призвать на помощь поэзию? Проще всего было бы ответить — таков его дар. Но ведь и дар чем-то обусловлен? Чем же?

Нашу послеперестроечную эпоху называют *безвременьем*. Вернее было бы назвать *все-временьем*: в нем сосуществуют и детство (дикость), и юность (варварство), и мужество (цивилизация), и мудрая плодоносящая старость (история): каждое из этих времен (и состояний) выражает себя в многообразии поэтических жанров.

Спасибо Зиновьеву, что он сам подготовил к этому юбилейному изданию подборку своих стихотворений. Подборка скромная. Хорошо, если она вместе с моей короткой вводной статьей вызовет желание обратиться к стихотворным текстам собрания сочинений нашего великого современника.